

Тень времени

Мне было, вероятно, лет двенадцать, когда мать однажды под вечер сказала:

- Пойдешь сегодня со мной.
- Куда?
- К одной моей знакомой. Ее зовут Анна Николаевна. Запомнила — Анна Николаевна?
- Там есть дети?
- Нет. Посидишь, послушаешь. Если будет неинтересно, считаешь.

Книг там достаточно.

Что касается "послушаешь" и "считаешь", — это был хорошо мне известный и испробованный вариант. Дело заключалось в том, что я была на одиннадцать-двенадцать лет младше любого в нашей семье. Не только непосредственно в нашей семье, но и среди двоюродных. Даже в семьях друзей моих родителей дети были взрослыми, и, как мне казалось, уже немолодыми. Часто, приходя в гости с родителями, из-за отсутствия сверстников я часами была предоставлена сама себе, и это было неплохое время: можно было захлеб читать или рассматривать подчас неожиданные находки.

Помню, у моего старшего дяди Якова (братьев у матери было четверо) я снова и снова перелистывала большую книгу-альбом — репродукции картин Рафаэля. На каком языке были тексты? Нет, сейчас уже и не соображу. Хотя каким-то чудом я уясняла для себя названия картин. Всмотривалась в кружевные арки дворцов, полные воздуха залы, в лица или лики, нет, все-таки лица, и смутно понимала, что в то далекое время рождения Христа не было в древней Иудее ни этих дворцов, ни всего этого пышного антуража, понимала, что все было грубее, грязнее, было кровавым и трагичным, а не так завораживающе красиво. У меня была своя игра: мне казалось, если долго вглядываться в картину, наступит мгновение — и я войду внутрь картины, стану одним из ее персонажей, пойму, почувствую ее изнутри. И сейчас иногда в музее меня посещает это чувство — вот он, близкий миг проникновения, сопричастности. Но мимо, мимо — уже так немного времени в запасе, и так дорого обходятся эмоциональные всплески.

А еще был альбом с видами Константинополя. Моя тетьа, жена дяди Якова, носила удивительное звучное греческое имя Афедрa. У нее были

близкие родственники в Константинополе, к которым она в дореволюционные времена ездила каждый год. Бухта Золотой Рог, мечети, базары, пестрая толпа смотрела на меня со страниц альбома. В памяти осталась цифра: поездка на пароходе туда и обратно стоила тридцать рублей.

Сотни открыток с видами Германии, Австрии, Италии, альпийскими заснеженными пейзажами ждали меня в ящиках секретера у Марии Владимировны Добросердовой, вдовы профессора-химика Дмитрия Константиновича Добросердова, одного из основателей химического факультета при Одесском университете. Она изредка отрывалась от беседы с моей матерью и смотрела на ту открытку, которая была в моих руках, и говорила:

— Флоренция... 1902 год... Наше свадебное путешествие...

— Гейдельберг... Митя был там на конференции химиков в университете в 1909 или 10 году. Ученых приглашали с женами.

Однажды среди открыток я нашла маленькую квадратную коробочку, верхняя крышка ее была стеклянной, в таких обычно хранили записки. В ней на белоснежном тонком слое ваты лежал еще невиданный мною сухой цветок: серебристая пушистая звездочка с выпуклой желтоватой серединой.

— Эдельвейс, — сказала Мария Владимировна, глядя поверх моей головы в окно. И я поняла, что она видит сейчас не двор старого одесского дома, заросший тополями и кленами — ровесниками дома. — Митя сорвал его, когда мы поднимались на Маттерхорн.

Еще непостижимый для моего ума отрезок времени — без малого пятьдесят лет пролежал цветок в коробочке. Я уже знала, что ее семейная жизнь начиналась в Казани, потом был Киев, Одесса, войны и революции, а цветок все пребывал на своем нежном ложе — символ юности, надежд, символ нетленности тленного.

И в каждом знакомом мне доме были книги. Нет, не те, что обычно стоят на полках — русская и зарубежная классика, энциклопедии, читаемые романы. Нечто совсем иное. Они хранились, как правило, вдалеке от глаз — в кладовке, сундуке, в диване или на антресолях. Это были журналы "Нива", собранные за много лет, и приложения к ним — тонкие книжечки в мягких бумажных обложках: синие — Метерлинк, желтые — Оскар Уайльд, стихи Надсона, Бальмонта, Северянина. Рисунки, оформленные "мирискусниками", репродукции картин Климта, Мухи, декаданс, или то, что здесь, в Германии, называют "Jugend Stil". Пленительные, изнеженные, удивительной красоты женщины, чьи изогнутые бескостные

тела вырастали из чашечек огромных фантастических цветов, а потом сами вплетались в плавные, причудливые, асимметричные орнаменты. Вот с тех пор для меня и остался любимым "art nouveau", томительный, загадочный, непредсказуемый стиль декора, а когда-то и стиль жизни.

В некоторых журналах еще лежали сложенные во много раз какие-то листы. Их нужно было разворачивать очень осторожно — они были ветхими, ломкими на сгибах. Развернутые, они были величиной с обеденный стол. На них были фасоны платьев, узоры для вышивок и кружев, рисунки шляп, украшенных лентами, цветами, фруктами и даже маленькими птичками; советы, как сделать елочные игрушки, упаковать рождественские подарки, накрыть парадный стол, как располагать на нем бокалы и салфетки, и много, многое другое, что никак не входило в обиход советской семьи.

Некоторые рисунки были обведены тонкими карандашными линиями. Это означало, что их когда-то, как говорили, "переводили" на ткань — вышивали подушечки, салфетки, дорожки на стол, делали аппликации. Сколько же нужно было иметь в запасе медленно текущего времени, чтобы растрчивать его на такие пустяки, а может быть, они и не были пустяками, а атрибутами женственности, домашности?

Но самыми увлекательными были дореволюционные выпуски журнала "Вокруг света". Романы Виктора Мея и Мариетта, Хоггарда и Буссенара — джунгли и пустыни, бушующие моря и пираты, острова, пещеры, поиск сокровищ — все смешивалось в калейдоскопе приключений, порождая неправдоподобно смелую мечту — увидеть своими глазами.

Но что приносит исполнившаяся мечта? Прошли десятилетия... Нет, я не бывала на неизвестных островах, но прикасалась к раскаленным стенам Анакапри и прохладному мрамору флорентийского собора, смотрела в черные воды Тахо и шла по узким улочкам еврейского квартала Толедо, куда никогда не заглядывает солнце, окунала руки в воду фонтана Треви и сидела на лестнице на площади Испании, видела корриду и чудо кельнского собора, скалы Сан-Себастьяна и заросшие цветущими гортезиями склоны Биаррица, вдыхала холодный, чистый воздух на перевалах в Пиренеях. Как много, и в то же время ничего, потому что нет Дома, куда так хочется принести и поселить пережитое ощущение и воспоминания, чтобы потом, через десятилетия, их нашли, как я нашла тот эдельвейс, и по комнате скользнула тень времени.

Но иногда книги откладывались в сторону: они, старшие, начинали рассказывать. И возникала крымская степь, по которой в тарантасе среди

несметных отар овец ехала моя восемнадцатилетняя мать, чтобы познакомиться со своими родственниками. Им-то и принадлежала и эта степь, и эти стада, и пароходы, вывозившие из Крыма зерно, шерсть и фрукты. Родственники согласились одолжить матери 1000 рублей — плата за учебу на высших медицинских курсах, с тем, что она вернет долг, когда станет врачом. Мать окончила институт в 1917 году. Семью родственников смыло волнами революции так стремительно и неожиданно, что вообще осталось неизвестным, в какую страну их занесло, выжили ли вообще они, помогли ли им их миллионы. Мать так никогда о них ничего не узнала, хотя разыскивала их и всю жизнь, помнила о неотданной тысяче рублей. У отца была удивительная черта характера: он никогда не говорил плохо о людях, не было в его рассказах ненависти и злобы, жалоб и сетований — все представляло легким и веселым. Весело он рассказывал о том, как мальчиком, учась еще в ремесленном училище, давал первые уроки, зарабатывая деньги на дальнейшую учебу в коммерческом училище. А прожженные молдавские бабы-соседки кричали ему:

— Ванюшка, беги скорее домой, там твой хедер уже собрался!

От года к году — репетиторство и учеба. И вот он в 1913 году — студент Киевского политехнического института — престижного по тем временам учебного заведения, молодой человек, мать которого была неграмотной. Веселая нищета студенческого быта и надежды...

Грохот бронепоезда врывался в комнату, когда тетя Нина Котовская — племянница, как тогда считалось, легендарного героя, а теперь — легендарного бандита Григория Котовского, — рассказывала о своей краснокосыночной юности — тачанки, броневики, госпиталя гражданской войны, сыпнотифозные бараки.

И мой дядя Илья, который убежал из немецкого плена в Первую мировую войну и пешком пробирался через всю Европу — через Германию, Австрию, Венгрию и Румынию. Путешествие, которое длилось годы. Его уже давно считали погибшим, но он вернулся. И я до сих пор помню его рассказы о крестьянских дворах и фермах, где он месяцами работал, пережидая зимы, о людях, которые не выдали русского солдата и помогли ему вернуться на землю, где уже бушевал пожар революции, в Одессу, где власть менялась более двадцати раз: красные, белые, зеленые, немцы, французы, какие-то разномастные банды украинских националистов, а потом опять красные, и все начиналось сначала. И каждая власть имела свои застенки, оставляла после себя трупы и слезы и тревожное ожидание завтрашнего дня.

Но все-таки они жили в этой смене кровавых дней, учась по возможности не замечать любую власть, но ценить внутреннюю свободу. Отец и дядя Яков весело вспоминали, как, работая в это смутное время во французской фирме, которая занималась укреплением береговой линии и строительством прибрежных сооружений, получали жалование каждый день, поскольку неизвестно было, какие деньги завтра будут в ходу. Мало того, деньги по той же причине обязательно нужно было потратить в этот же день на что-нибудь полезное для семьи — теоретически, а практически — купить то, что попадалось — спички или шоколад, дамские чулки или халву. А когда, в очередной раз, власть в Одессе переходила к красным, дядя Яков шел в то место в городе, где проходила запись в красные отряды, забирал там самого младшего брата Елисея, который страстно по недостатку образования хотел повоевать неизвестно за что, бил его пару раз по физиономии, отдавал винтовку взводному и увел домой, приговаривая:

— Когда же ты поймешь, дурак, что нас это не касается?

И общий гомерический хохот, когда дядя Саша Красносельский, флегматичный, очень красивый и очень негибкий в своих немудреных жизненных принципах, неторопливо повествовал:

— Удивительную я вчера слушал лекцию у нас в Энергосбыте. Лектор, молодой, рассказывает нам, как до революции рабочие стояли у станков, потом падали, там же под станками спали, а с утра снова начинали работу. Я не выдержал, встал и говорю: "Молодой человек, что вы рассказываете? Вот я — тот рабочий, токарь, который еще до революции работал на заводе Гена. Каждый день уходил с завода домой, под станком не валялся, в субботу не работал, шел в баню. Кто это вам такое рассказал?"

Рассказы о жизни, рассказы длиной в жизнь. А впереди еще были тяжкие, болезненные судороги начала 50-х годов, и еще далеко было до того серого, холодного утра 3 марта пятьдесят третьего года, когда мать громко, ликующим голосом сказала:

— Мы дожили!

А в тот уже такой далекий день, в предсумеречный час, мы доехали трамваем до остановки "Судостроительный завод имени Андре Марти". Марти еще не был оппортунистом и перерожденцем, а был нашим задушевным французским другом. Завод, собственно, был совсем не в этом месте. Здесь стояли только парадные ворота завода. Пройдя сквозь них, нужно было долго спускаться по лестнице, которая вела по обрывистому склону вниз, где и стоял завод. Мы же пошли в противоположную сторо-

ну по узкому, мощенному старым крупным булыжником переулку, который носил название Книжный, но мать именовала его упорно по-старому Софиевский.

На углу этого переулка и улицы Пастера высилось массивное здание, по-своему красивое, напоминающее рисунок реконструированного греческого храма из учебника истории. Оно было специально построено для городской публичной библиотеки. "Научная библиотека имени Максима Горького" было написано на тяжелом фронте. Но в Одессе все называли ее "публичка".

Мы прошли мимо главного входа, свернули в калитку и оказались в небольшом запущенном саду. Давно не подрезавшиеся кусты сирени, старые акации и каштаны занимали все пространство и нависали тяжелыми кронами над старым флигелем, прижавшимся вплотную к тыльной стороне библиотеки. На невысокой двери была прикреплена табличка: А.Н. Дерibas. В Одессе такая фамилия никого не может оставить равнодушным; я тут же попыталась спросить у матери, не связана ли эта фамилия с названием главной улицы города. Но дверь открылась, мы спустились на одну ступеньку вниз и оказались в большой комнате. В ней уже были четыре или пять женщин, пожилых, скорее старых. Хозяйка сидела в кресле с высокой прямой спинкой, выпрямившись, в несколько напряженной позе.

— Говорите ли вы по-французски, деточка? — задала она ошеломивший меня вопрос, на что я неопределенно промямлила, что учу английский. Она утратила ко мне интерес и вернулась к прерванному разговору.

Одна из женщин, положив руку на книгу с коричневым кожаным корешком, явно изданную давно, с какой-то горячностью говорила:

— Снова перечитала... Когда граф грешил против истины — в книге или в разговоре со мной? Тот же эпизод, но в книге изложен совершенно по-другому.

— "Воспоминания" графа Витте давно уже стали классикой, и ничего уже не изменишь, да и какое это имеет сейчас значение? — говорила Анна Николаевна, неопределенно взмахнув тонкой смуглой рукой. И я с удивлением поняла, что они говорят об авторе этой старой книги, как о своем собеседнике.

Я рассматривала точеный, изысканный профиль Анна Николаевны, прелестный, не искаженный временем овал лица, тяжелый узел волос, темных, с проседью. Сидящая на некотором расстоянии от меня в приглушенном оранжевым абажуром свете, скрывающем морщины, она была

красива, красива без оговорок, и казалась почти молодой. Намного позже я узнала, что ей было тогда около семидесяти лет.

Разговор за столом тек своим чередом, я читала какую-то книгу, пока одна фраза Анны Николаевны не заставила меня снова задуматься.

— Всю жизнь, — сказала она со смехом, — я хочу сама быть интересной, бороться с тенью или жить в тени великого — так скучно. Притом, столько лет прошло, а любопытство людское не умирает. Каким был Бунин? О, разным, и совсем не таким, каким вы его себе представляете.

Бунин... Конечно, я не читала Бунина, и не только по своему малолетству, но и потому, что в те годы его не только не издавали, но даже имя его не упоминалось в ряду русских писателей. Но что-то в памяти теплилось, и имя было знакомым. И тут я вспомнила одну из любимых своих книг, ярко иллюстрированную в оранжево-коричневой гамме. По страницам в беспорядке были разбросаны стрелы и томагавки, перья и расписные трубки, из-за строк выглядывали хитрые мордочки енотов. Это была "Песнь о Гайавате" Генри Лонгфелло. А под названием тонким курсивом: "В переводе Ивана Бунина".

Так я впервые встретилась с Анной Николаевной Дерibas, в девичестве Цакни, первой женой Ивана Алексеевича Бунина.

А Анна Николаевна между тем продолжала:

— Понимаете ли, я была для него слишком красивой, слишком живой, мне нужно было уделять внимание, а это открывало его от работы, копилась досада, недовольство друг другом. Ему нужна была другая жена, готовая целиком посвятить себя ему, его творчеству. В конце концов, именно такую он и встретил. А я была очень молода и хотела жить...

Я часто бывала с матерью у Анны Николаевны. И всегда у нее было много людей, чаще всего пожилых женщин. Я уже не удивлялась тому, что многие, которые, как я думала, остались лишь именем в истории, были знакомы этим старушкам. В Одессе сороковых-пятидесятых годов доживали свой век остатки русской аристократии, столичной интеллигенции. Их забросила в Одессу надежда переждать треволения смутного времени. Большевики долго не могли утвердиться в Одессе, что порождало иллюзии их недолговечности, да и власть украинских националистов была предпочтительнее власти красных. Когда же эпоха показала свои кровавые клыки, и они прозрели, пути в Европу были уже отрезаны. У многих из них дети ушли раньше — с отступающими войсками Деникина, в обозах немцев, на кораблях интервентов. И они доживали сейчас не свою, не им предназначенную жизнь. Работали машинистками, курьерами в учрежде-

ниях, нянечками в больницах, редко корректорами, переводчицами, библиотечкарями. Они ни на что уже не надеялись, даже на встречу с детьми, о которых уже десятилетия ничего не знали. Не знали даже, живы ли они.

Среди них были очень колоритные фигуры. В нашем квартале жила высокая, неправдоподобно худая, несурзная старуха, казалось, кости у нее выпирают из тех мест, где у других людей их и вовсе нет. Она ходила в мужских ботинках, вероятно, сорокового размера. К этому прилагалась нелепая, не шедшая ей шляпа — летом из черной соломки, зимой — фетровая. На двери ее маленькой квартирке — одна комнатка и кухня — была прикреплена табличка "La comtesse de Golovina" — графиня Головина. Она работала акушеркой в родильном доме нашего района, и не одно поколение малышей с окрестных улиц прошло через ее руки. Безотказно приходила на помощь любой женщине, днем и ночью и, конечно, совершенно бескорыстно. Любую попытку как-то отблагодарить ее она встречала с таким возмущением, что каждый понимал: предлагая ей что-то, он совершает нечто в высшей степени бестактное. Головина была совершенно одинока и бесстрашна. Неоднократные попытки домоуправа и участкового заставить ее снять немислимую для советских времен табличку на дверях ни к чему не приводили. Она неизменно отвечала:

— Молодые люди, не вы и не ваша власть давали мне титул. Не вам его и забирать. Я — последняя в своей ветви, со мной она окончится. А если вы уже здесь, прошу вас к столу, выпьем чаю с вареньем.

Будучи хорошо воспитанными людьми, они, эти старушки, стоически переносили все, что выпало на их долю, не жалуясь, не сетуя на тяготы. Для них отдушиной были эти встречи в своем кругу, иногда беглая беседа по-французски о жизни и людях, которых давно уже нет.

Шли годы, я взрослела, уже и сама заходила к Анне Николаевне, брала у нее книги, удивляя ее своей увлеченностью английской литературой. Постепенно история ее жизни, конечно, фрагментарно, сложилась в моем сознании.

Отец ее — журналист Николай Цакни, грек, увлекался в молодости идеями социал-демократии, жил в Париже. Мать — еврейка, рано умерла от туберкулеза. Детство Анны Николаевны прошло в Париже. Не тень ли этой девочки в высоких ботиночках и шляпке с лентами, стоящей у белого ажурного стула, искала я на аллеях Люксембургского сада, на аллеях, безвозвратно утративших свое очарование? Когда Анне Николаевне было лет семь-восемь, отец женился вторично, на гречанке. У них родился сын Юлий, впоследствии ставший юристом.

Николай Цакни незаметно отошел от игры в революцию, вернулся в Одессу, и неожиданно оказалось, что он человек небедный. Ему принадлежал солидный литературный альманах "Южное обозрение", имение, виноградники, которые приносили немалый доход. Жена его страстно увлекалась оперой. В знаменитом здании Одесского оперного театра, кроме постоянной труппы, часто выступали итальянские певцы, приезжали на гастроли Леонид Собинов и Федор Шаляпин. Анна Николаевна училась в гимназии, была очень привязана к своей мачехе, разделяла ее увлечение музыкой. В их доме царил атмосфера веселой богемы. У них бывали писатели, журналисты, художники Петр Нилус, Евгений Буковицкий, Куровский — те, кто позднее принимали участие в создании Южнорусского товарищества художников.

В 1897 году Николай Цакни, в связи с предстоящей публикацией в альманахе, приглашает в Одессу Ивана Бунина, чьи стихи уже обрели известность. И он, несколько сухой и чопорный человек, гордящийся своим происхождением, своим родом, давшим русской литературе таких поэтов как Анна Бунина, Василий Жуковский, попадает в яркий южный город, знакомится с людьми, в жилах которых течет кровь русских и украинцев, евреев, генуэзцев, французов, греков, турок, молдаван — та удивительная смесь, подарившая миру столько талантливых, красивых и смелых людей. Со многими из них он познакомился тогда в Одессе, сохранил дружбу на всю жизнь. И, прежде всего, с Нилусом, их дружеские отношения продолжались и в эмиграции, в Париже, до конца дней.

И здесь, в Одессе, на Бунина обрушилась любовь, как он называл намного позже — "солнечный удар". Его очаровала прелестная, непосредственная, живая Анна Николаевна. Ее душа была полна нетерпеливыми желаниями: она хотела писать стихи и картины, петь, учить детей, но, главное, она хотела быть счастливой. Они поженились в 1898 году — выпускница гимназии и поэт. Бунин был на десять лет старше Анны. Сначала они поселились в шумном доме Николая Цакни. Потом была зима в Париже.

— Меня называли самой красивой женщиной сезона, избирали королевой балов, — не без некоторой доли тщеславия рассказывает Анна Николаевна. — Называли русской красавицей, хотя я ну никак не соответствовала этому типу. Мне хотелось выезжать в свет, танцевать, мы поздно возвращались. Это, конечно, мешало Ивану Алексеевичу работать.

Позже они жили в Петербурге и Москве. Были знакомы с Короленко, Чеховым. У них часто бывал Максим Горький, который восторженно относился к таланту Бунина, всегда отдавая ему пальму первенства в творчестве.

— Знали ли вы Блока, Белого, Анна Николаевна? — выдаю я невольно свои симпатии и любопытство.

— Нет, нет, — говорит она. — Они искали знакомства с Иваном Алексеевичем позже, после меня.

Это "после меня" наступило скоро. Она обвиняла его в черствости, холодности. Он ее — в легкомыслии, неспособности разделить его идеалы и интересы, неумении наладить жизнь. Разрыв произошёл, когда она была беременна. Родился сын Николай. В пятилетнем возрасте он умер от заболевания сердца — осложнение после перенесенной скарлатины.

Бунин тяжело переживал крах любви, крах семьи. Для Анны Николаевны смерть сына была просто катастрофой.

Она открыла ящик письменного стола и достала книгу карманного формата. "Жизнь Арсеньева" было написано на мягкой обложке, и подзаголовок "Юность".

— Здесь все, и о нас тоже, так, как видел он. Нет, я не дам вам. Это чтение еще не для вас, рано. Прочтете когда-нибудь, со временем, когда меня не будет. Я благодарна ему за эту книгу; поняла, что не могло быть иначе, может быть, наконец-то поняла и его. И простила, — она помолчала, — почти простила.

Я подержала в руках, не раскрывая, книгу. "Париж, 1934 год", — значилось на обложке.

Я прочла "Жизнь Арсеньева" в 1966 году, когда Анны Николаевны уже не было в живых. Автобиографический роман, где жизнь вымышленного литературного героя неотделима от жизни автора. Как часто он возвращается в этом романе к мысли о том, что крах любви в браке с его житейскими дрязгами, тяготами неизбежен, и что смерть, как завершение любви, предпочтительнее неизбежной пошлости брака. Последние фразы романа потрясли меня, и с тех пор я всегда воспринимала все, что написано было им после разрыва с Анной Николаевной, только под определенным углом зрения — мне казалось, что он вел всю жизнь диалог с ней, и только с ней: "Недавно я видел ее во сне — единственный раз за всю свою долгую жизнь без нее. Ей было столько же лет, как тогда, в пору нашей общей жизни и общей молодости, но в лице ее уже была прелесть увядшей красоты. Она была худа, на ней было что-то похожее на траур. Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и душевной близостью, которой не испытывал ни к кому никогда".

Эти слова выплеснулись из сердца 64-летнего Бунина, когда мелочь

обид и непонимания уже давно перегорела, и остался лишь след чистой страсти, посетившей его однажды в молодости.

Пройдя через годы тоски, депрессии, Анна Николаевна выходит замуж во второй раз. И снова спутник ее жизни — человек неординарный — Александр Михайлович Дерибас. Фамилия Дерибас стоит в Одессе в ряду таких фамилий как герцог де Ришелье, Ланжерон, граф Воронцов. Александр Михайлович — правнук Феликса Дерибаса, итальянского консула в Одессе в конце XVIII века. Феликс же был родным братом адмирала Иосифа де Рибас-и-Буйонс, руководившего строительством порта и города.

Александр Михайлович был директором научной библиотеки в Одессе. Вот почему и жила Анна Николаевна во флигеле во дворе библиотеки, где до революции размещалась казенная квартира директора. Александр Михайлович Дерибас был автором книги "Старая Одесса", первое издание которой было приурочено к трехсотлетию дома Романовых и вышло в 1913 году. Книга эта, говоря современным языком, сразу же стала бестселлером. К пятидесятым годам она была редкостью, и считалось удачей, если удавалось достать ее на несколько дней или хотя бы перелистать большой, нестандартного формата толстенный том, зеленый с золотым обрезом. Это, вне всяких сомнений, лучшая книга об Одессе. Все, что написано было позже, — в какой-то мере вторично, так как авторы вольно или невольно отталкивались от этой книги. В ней было все: история причерноморских земель — античность, скифы, турки, крепость Хаджибей, история черноморского казачества и русско-турецкие войны, основание города, квартальные планы застройки, катакомбы, история Одессы как города, пользовавшегося особым статусом — "порто-франко". Были в ней и портретные главы — пираты и контрабандисты, губернаторы, градоначальники, негодяи; главы, посвященные писателям, художникам, театру. И в ней было главное — дух города и дух терпимости и уважения ко всем жившим и живущим рядом.

Анна Николаевна снова живет в интеллектуальной среде. Семья Дерибас поддерживает связи с ученым миром, писателями. В библиотеке проходят литературные чтения, встречи, диспуты. Эту сложившуюся традицию удалось сохранить и после революции. Все рухнуло в 1937 году, когда сын Дерибаса от первого брака был арестован и расстрелян. Александр Михайлович не выдерживает этого потрясения и вскоре умирает. От двухэтажной директорской квартиры к тому моменту, когда я впервые пришла туда, у Анны Николаевны оставалась лишь одна комната, в дру-

гих уже давно располагались различные отделы библиотеки. Администрация библиотеки охотно заполучила бы и эту, последнюю, но Анна Николаевна упорно отвергала все предлагаемые ей в новых районах квартиры. Она, вероятно, и не знала, где эти районы находятся, и никогда в них не бывала. Комната была, наверное, последней ниточкой, связывающей ее с ушедшей жизнью. В комнате было слишком много мебели темного цвета. Но мне всегда казалось, что Анна Николаевна живет отдельно от вещей, окружающих ее, что они и не нужны ей вовсе. Я помню ее либо сидящей за столом под оранжевым абажуром, либо в кресле у окна с книгой в руках. Никогда не видела, чтобы она занималась, как говорится, хозяйством. К ней часто забегали пожилые сотрудницы библиотеки, те, которые работали еще при Александре Михайловиче. Они покупали для нее продукты, будто бы невзначай смахивали пыль, кое-как поддерживая порядок в комнате. И было в этом что-то почти родственное, хотя сочувствия и жалости по отношению к себе она не допускала — гордый характер и независимый ум исключали что-либо подобное. На улицу выходила все реже. Жизнь сводилась теперь к книгам и воспоминаниям.

А книг всегда было много. Их приносили все те же женщины из библиотеки, хотя книги по правилам на руки не выдавались, а только на читальный зал. А они, в обход правил, приносили ей даже из закрытых фондов. Впервые у Анны Николаевны я увидела книги Мережковского, Гиппиус, "Бесы" Достоевского. Иногда удавалось взять что-нибудь дня на два-три.

Шли годы... Жизнь уводила в сторону от семьи, старых знакомых, от чужих воспоминаний к накоплению своих. Я все реже бывала у Анны Николаевны.

Однажды летом или ранней осенью 1963 года я подошла к знакомой двери, она была приоткрыта. Я вошла в комнату — вдоль стен стояли шкафы, ящики картотеки. Молодая женщина за письменным столом подняла голову:

— Вы ищете кого-нибудь? Здесь каталог отдела иностранной литературы.

Я в последний раз обвела взглядом комнату, где уже никогда не прозвучит знакомое: "Здравствуйте, деточка! Заходите, я рада вас видеть", — и сказала:

— Нет, нет, я просто ошиблась дверью.

Дюссельдорф